



АНТОН ПАВЛОВИЧ

ЧЕХОВ

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзивная классика (АСТ)

АНТОН ЧЕХОВ
Чёрный монах

«Издательство АСТ»

1894

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Чехов А. П.

Чёрный монах / А. П. Чехов — «Издательство АСТ»,
1894 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-158393-4

Большинство читателей считают Чехова писателем, чьи произведения полны добродушного и незлобивого юмора. Этот сборник раскрывает совершенно иные грани его таланта. Мрачная мистика и хлесткие пародии на нее. Иронические детективы, полные черного юмора, и реалистические рассказы, в которых ужас происходящего достигает высот, доступных далеко не каждому автору готических романов. Такого Чехова узнавать еще интереснее!

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-158393-4

© Чехов А. П., 1894
© Издательство АСТ, 1894

Содержание

Чёрный монах	6
I	6
II	9
III	11
IV	13
V	15
VI	18
VII	20
VIII	22
IX	24
Страшная ночь	27
Спать хочется	31
Сапожник и нечистая сила	35
Недоброе дело	39
В сарае	42
Володя	46
Конец ознакомительного фрагмента.	51

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
ЧЕРНЫЙ МОНАХ
Сборник

* * *

© ООО «Издательство АСТ», 2023

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехать.

Сначала – это было в апреле – он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив – цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался

по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

– Я еще в детстве чихал здесь от дыма, – сказал он, пожимая плечами, – но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

– Дым заменяет облака, когда их нет... – ответила Таня.

– А для чего нужны облака?

– В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

– Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

– Господи, она уже взрослая! – сказал он. – Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

– Да, пять лет! – вздохнула Таня. – Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, – живо заговорила она, глядя ему в лицо, – вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

– Я считаю, Таня.

– Честное слово?

– Да, честное слово.

– Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

– Однако, пора спать, – сказала Таня. – Да и холодно. – Она взяла его под руку. – Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад, – и больше ничего. Штамб, полуштамб, – засмеялась она, – апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, – в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,

Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то все погибло!

– Вот, брат, история... – начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. – На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

– Право, не знаю, – сказал Коврин и засмеялся.

– Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь все больше насчет философии?

– Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

– И не прискучает?

– Напротив, этим только я и живу.

– Ну, дай бог... – проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. – Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

– Кто это привязал лошадь к яблоне? – послышался его отчаянный, душу раздирающий крик. – Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

– Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? – сказал он плачущим голосом, разводя руками. – Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он – толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

– Ну, дай бог... дай бог... – забормотал он. – Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выжалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня – сопрано, одна из барышень – контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова – они были русские – и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

– Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, – сказал он. – Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня – завтра.

– Странный мираж, – сказала Таня, которой не понравилась легенда.

– Но удивительнее всего, – засмеялся Коврин, – что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился не спеша в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер.

Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодой, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

«Как здесь просторно, свободно, тихо! – думал Коврин, идя по тропинке. – И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...»

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, – зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контур у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшной быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седой головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

– Ну, вот видите ли... – пробормотал Коврин. – Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, – значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен.

III

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

– Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, – сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. – Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

– Ну, уж и отлично! – говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно. – Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

– По-моему, великолепные статьи, – сказала Таня с глубоким убеждением. – Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузлящиеся авторы. Наконец, он стал сдаваться.

– В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки, – забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, – а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

– Да, братец ты мой... – начал он после некоторого молчания. – Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

– Дело говорит само за себя.

– Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело – понимаешь? – люблю, быть может, больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня: я все сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку – сам, посадки – сам, все – сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек.

– А Таня? – спросил Коврин, смеясь. – Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

– Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж? – зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. – Тото вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать. Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год! В нашем деле бабы – бич божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

– Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудака. Сознаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

– Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, – решил он наконец, засовывая руки в карманы. – К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина – я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то – что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

– Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал, – сказал он, подумав. – Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре», у другой: «Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад», у третьей: «Еще об окулировке спящим глазком» – и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает ее Егор Семеныч с «*audiatur altera pars*»¹ и кончает – «*sapienti sat*»², а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или г. Гоше, «успех которого создан профанами и дилетантами», и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, – подумал Коврин. – Должно быть, везде и на всех попрощах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно».

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестикующей. Должно быть, нервна в высшей степени.

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но не надолго.

«Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», – подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда слышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрывшись с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

¹ Пусть выслушают другую сторону (*лат.*).

² Умному достаточно (*лат.*).

IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: «ах, боже мой, боже мой!» и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

– Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос:

– Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.

– Ай-ай, как стыдно! – начал он шутивно, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. – Неужели так серьезно? Ай-ай!

– Но если бы вы знали, как он меня мучит! – сказала она, и слезы, горячие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. – Он замучил меня! – продолжала она, ломая руки. – Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности держать... лишних работников, если... если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

– Полно, полно, – проговорил Коврин, поправляя ей прическу. – Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более что он вас бесконечно любит.

– Он мне... мне испортил всю жизнь, – продолжала Таня, всхлипывая. – Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

– Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его, как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться

и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя душой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

V

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех – это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытой седой головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга – Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

– Но ведь ты мираж, – проговорил Коврин. – Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

– Это все равно, – ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. – Легенда, мираж и я – все это продукт твоего возбужденного воображения. Я – призрак.

– Значит, ты не существуешь? – спросил Коврин.

– Думай, как хочешь, – сказал монах и слабо улыбнулся. – Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе.

– У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет, – сказал Коврин. – Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

– Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.

– Ты сказал: вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

– Вечная жизнь есть, – сказал монах.

– Ты веришь в бессмертие людей?

– Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды – и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях.

– А какая цель вечной жизни? – спросил Коврин.

– Как и всякой жизни – наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в дому Отца Моего обители многи суть.

– Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! – сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

– Очень рад.

– Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

– Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это – то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

– Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?

– А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

– Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*³.

– Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз – все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

– Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

– Галлюцинация кончилась! – сказал Коврин и засмеялся. – А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немного, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, – какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

– Вы здесь? – сказала она. – А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? – удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. – Какой вы странный, Андрюша.

– Я доволен, Таня, – сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. – Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

– Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

– Ну! – засмеялась Таня. – Вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек.

– Нет, будем говорить серьезно! – сказал он. – Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

³ Здоровый дух в здоровом теле (*лат.*).

– Ну! – сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

– Я не думала об этом... не думала! – говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

– Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

– Как она хороша!

VI

Узнав от Коврина, что не только роман налачился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданым, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или, бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, – и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе – и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

– Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

– Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он

всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

– Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, воехичало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском», то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

VII

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели.

– Здравствуй, – сказал монах и, помолчав немного, спросил: – О чем ты теперь думаешь?

– О славе, – ответил Коврин. – Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

– Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

– Да, это правда.

– Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удерживать ваши имена.

– Понятно, – согласился Коврин. – Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

– В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья – так оно было велико! – и, чтобы умиловить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Seriously говорю: я начинаю недоумевать.

– Но почему? – изумился монах. – Разве радость – сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.

– А вдруг прогневаются боги? – пошутил Коврин и засмеялся. – Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели и в смехе было что-то странное.

– Андрюша, с кем ты говоришь? – спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. – Андрюша! С кем?

– А? С кем? – смутился Коврин. – Вот с ним... Вот он сидит, – сказал он, указывая на черного монаха.

– Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен!

Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

– Ты болен! – зарыдала она, дрожа всем телом. – Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Андрюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

– Это ничего, Таня, ничего... – бормотал он, дрожа. – В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

– Я уже давно замечала... и папа заметил, – говорила она, стараясь сдержать рыдания. – Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О, боже мой, боже мой, спаси нас! – проговорила она в ужасе. – Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради, не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

– Ты не бойся, Андрюша, – говорила Таня, дрожа как в лихорадке, – не бойся... Папа, это все пройдет... все пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном:

– Поздравьте, я, кажется, сошел с ума, – но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

VIII

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря...

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

– Тебе, кажется, пора уже молоко пить, – сказала Таня мужу.

– Нет, не пора... – ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. – Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

– Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

– Да, очень полезно! – усмехнулся Коврин. – Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу. – Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: – Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг – все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я – посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

– Бог знает, что ты говоришь! – вздохнул Егор Семеныч. – Даже слушать скучно.

– А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

– Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! – сказал Коврин. – Если бы Магомет принимал от нервов

бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы знали, – сказал Коврин с досадой, – как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет.

Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем как ложиться спать, Таня говорила ему:

– Отец обожает тебя. Ты на него сердись за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

– Не могу и не хочу.

– Но почему? – спросила Таня, начиная дрожать всем телом. – Объясни мне, почему?

– Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, – небрежно сказал Коврин и пожал плечами, – но не будем говорить о нем: он твой отец.

– Не могу, не могу понять! – проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. – Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож... Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дразги... Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, – продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. – Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

– Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку.

– Это пытка, – проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. – С самой зимы ни одной покойной минуты... Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю...

– Да, конечно, я – Ирод, а ты и твой папенька – египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна – так звали его подругу – собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, все уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся, умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет спустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...»

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице кроме него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них – это работа. Надо сесть за стол и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, – одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Чёрный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

– Отчего ты не поверил мне? – спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина. – Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

– Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

– Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже потеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

Страшная ночь

Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом: – Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи...

«Жизнь твоя близится к закату... Кайся...»

Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека... Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.

Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал:

– Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника.

«Если верить Спинозе, – улыбнулся я, – то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажег спичку... Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорванная ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи...

«Плохо в такую ночь бесприютным», – подумал я.

Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное... Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза...

Посреди комнаты стоял гроб.

Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба... Я видел розовый, мерцающий искорками, глазет, видел золотой, галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки – все говорило за то, что покойник был богат.

Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи – это удивительно. Очутившись

на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло...

Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал:

– Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку... Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены... Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, – как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его – труп? Кто же *она*, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанеся мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна!

«Если здесь не чудо, то преступление», – блеснуло в моей голове.

Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта, и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай?

«Духи предсказали мне смерть, – думал я. – Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?»

Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа.

«Но все это глупо, и я труслив, как школьник, – решил я. – То был оптический обман – и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб... Конечно, оптический обман! Что же другое?»

Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку... Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но... куда? Воротиться к себе – значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Остаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно.

Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке.

Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал:

– Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно... В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь... Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера...

В комнате товарища я увидел то же, что и у себя, – гроб!

Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман – сомневаться уже было невозможно... Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболел чем-то вроде

«гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы...

«Я схожу с ума? – подумал я в ужасе, хватая себя за голову. – Боже мой! Что же делать?!»

Голова моя трещала, ноги подкашивались... Дождь лил как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих... Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация.

– Что было делать? – продолжал Панихидин. – Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему... Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского.

У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

– Ко мне! – услышал я раздирающий душу крик. – Ко мне! Дворник!

И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре...

– Погостов! – воскликнул я, узнав друга моего Погостова. – Это вы? Что с вами?

Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась...

– Это вы, Панихидин? – спросил он глухим голосом. – Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы... Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой... вы страшны...

– Но что с вами? На вас лица нет!

– Ох, дайте, голубчик, перевести дух... Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс... Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате... гроб!

Я не верил своим ушам и попросил повторить.

– Гроб, настоящий гроб! – сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. – Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!

Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною...

Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.

– Нам обоим больно, – сказал доктор, – стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши, – не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?

Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу, и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

– Теперь можно узнать, – сказал бледный доктор, дрожа всем телом, – пуст этот гроб или же... он обитаем?

После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и...

Гроб был пуст...

Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более что гроб простоят у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство.

Любящий тебя Иван Челюстин».

После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.

Спать хочется

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою...

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампы ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

– Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – тебе кашки наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет – и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшим мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. – «Зачем это?» – спрашивает Варька. – «Спать, спать!» – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... – мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

– Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.

– Засветите огонь, – говорит он.

– Бу-бу-бу... – отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

– Сейчас, батюшка, сейчас, – говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избы и доктора.

– Ну, что? Что ты это вздумал? – говорит доктор, нагибаясь к нему. – Эге! Давно ли это у тебя?

– Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

– Полно вздор говорить... Вылечим!

– Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем...

Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:

– Я ничего не могу поделывать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

– Батюшка, да на чем же он поедет? – говорит Пелагея. – У нас нет лошади.

– Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

– Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал... Царство небесное, вечный покой...

Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стучается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

– Ты что же это, паршивая? – говорит он. – Дите плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.

– Подайте милостынки Христа ради! – просит мать у встречных. – Явите божескую милость, господа милосердные!

– Подай сюда ребенка! – отвечает ей чей-то знакомый голос. – Подай сюда ребенка! – повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. – Слышишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синее небо, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

– Возьми! – говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. – Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

– Варька, затопи печку! – раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

– Варька, поставь самовар! – кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

– Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

– Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

– Варька, ставь самовар! – кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогреть его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

– Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

– Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

– Варька, покачай ребенка! – раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

– Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг – ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

Сапожник и нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утра.

– Жизнь каторжная! – ворчал Федор, работая. – Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого...

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

– С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толк что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, красным пламенем, завоняло серой и жжеными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках... Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подошли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза.

«Вот так история! – подумал он, оглядывая сапоги. – Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, колотивший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:

– Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

– Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», – Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толк что-то в ступке.

– Ваше высокоблагородие, сапожки принес! – сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! – подумал Федор. – Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретила его в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал:

– Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

– Люблю за такие слова, – сказал польщенный заказчик. – Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красный нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работающая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.

– Что же ты хочешь? – перебил его заказчик.

– А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

– Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

– Ваше высокоблагородие! – сказал Федор вежливо. – Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

– Ну, ладно! – согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жжеными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

– Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя – вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!» – думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

– Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

– За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? – спросил он.

– Кузьма Лебедкин, – ответил лакей.

– Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

– Что прикажете, ваше высокоблагородие?

– Молчать! – крикнул Федор и топнул ногой. – Не смей рассуждать и помни свое сапожничье звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?

– За деньгами-с.

– Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!

Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой, пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.

– Денег много, – говорил он жене, – того гляди, вору заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затыкнул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городской и сказал, делая под козырек:

– Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал думать: чем бы развлечься?

– Барин! – крикнул ему дворник. – Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

– А еще тоже барин! – дразнили его извозчики. – Словно сапожник какой...

– Нешто господам можно безобразить? – сказал ему городской. – Вы бы еще в кабак пошли!

– Барин, подайте милостыньки Христа ради! – вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. – Подайте!

Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину, но она сказала сердито:

– Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! – подумал Федор. – Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть... Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:

– Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйста за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

– Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито:

– Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он наконец успокоился, Федор спросил угрюмо:

– А чем вы, барин, занимаетесь?

– Я przygotowляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.

Зазвонили к утрени. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры... Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу.

Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие – петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

Недоброе дело

– Кто идет?

Ответа нет. Сторож не видит ничего, но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит, что кто-то идет впереди него по аллее. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю, и сторожу кажется, что земля, небо и он сам со своими мыслями слились во что-то одно громадное, непроницаемо-черное. Идти можно только ощупью.

– Кто идет? – повторяет сторож, и ему начинает казаться, что он слышит и шепот и сдержанный смех. – Кто тут?

– Я, батюшка... – отвечает старческий голос.

– Да кто ты?

– Я... прохожий.

– Какой такой прохожий? – сердито кричит сторож, желая замаскировать криком свой страх. – Носит тебя здесь нелегкая! Таскаешься, леший, ночью по кладбищу!

– Нешто тут кладбище?

– А то что же? Стало быть, кладбище! Не видишь?

– О-хо-хо-хх... Царица небесная! – слышится старческий вздох. – Ничего не вижу, батюшка, ничего... Ишь, темень-то какая, темень. Зги не видать, темень-то, батюшка! Ох-хо-хо-ххх...

– Да ты кто такой?

– Я – странник, батюшка, странный человек.

– Черти этакие, полуношники... Странники тоже! Пьяницы... – бормочет сторож, успокоенный тоном и вздохами прохожего. – Согресишь с вами! День-деньской пьют, а ночью носит их нелегкая. А словно как будто я слышал, что тут ты не один, а словно вас двое-трое.

– Один, батюшка, один. Как есть один... О-хо-хо-х, грехи наши...

Сторож натывается на человека и останавливается.

– Как же ты сюда попал? – спрашивает он.

– Заблудился, человек хороший. Шел на Митриевскую мельницу и заблудился.

– Эва! Нешто тут дорога на Митриевскую мельницу? Голова ты баранья! На Митриевскую мельницу надо идтить много левей, прямо из города по казенной дороге. Ты спяна-то лишних версты три сделал. Надо быть, нализался в городе?

– Был грех, батюшка, был... Истинно, был, не стану греха таить. А как же мне теперь-то идтить?

– А иди все прямо и прямо по этой аллее, пока в тупик не упруешься, а там сейчас бери влево и иди, покуда все кладбище пройдешь, до самой калитки. Там калитка будет... Отопри и ступай с богом. Гляди, в ров не упади. А там за кладбищем иди все полем, полем, полем, пока не выйдешь на казенную дорогу.

– Дай бог здоровья, батюшка. Спаси, царица небесная, и помилуй. А то проводил бы, добрый человек! Будь милостив, проводи до калитки!

– Ну, есть мне время! Иди сам!

– Будь милостив, заставь бога молить. Не вижу ничего, не видать зги, ни синь-пороха, батюшка... Темень-то, темень! Проводи, сударик!

– Да, есть мне время провожаться! Ежели с каждым нянчиться, то этак не напровожаешься.

– Христа ради проводи. И не вижу, и боюсь один кладбищем идтить. Жутко, батюшка, жутко, боюсь, жутко, добрый человек.

– Навязался ты на мою голову, – вздыхает сторож. – Ну, ладно, пойдем!

Сторож и прохожий трогаются с места. Они идут рядом, плечо о плечо и молчат. Сырой, пронзительный ветер бьет им прямо в лица, и невидимые деревья, шумя и потрескивая, сыплют на них крупные брызги... Аллея почти сплошную покрыта лужами.

– Одно мне невдомек, – говорит сторож после долгого молчания, – как ты сюда попал? Ведь ворота на замок заперты. Через ограду перелез, что ли? Ежели через ограду, то старому человеку этакое занятие – последнее дело!

– Не знаю, батюшка, не знаю. Как сюда попал, и сам не знаю. Наваждение. Наказал господь. Истинно, наваждение, лукавый попутал. А ты, батюшка, стало быть, тут в сторожах?

– В сторожах.

– Один на все кладбище?

Напор ветра так силен, что оба на минуту останавливаются. Сторож, выждав, когда ослабеет порыв ветра, отвечает:

– Нас тут трое, да один в горячке лежит, а другой спит. Мы с ним чередуемся.

– Так, так, батюшка, так. Ветер-то, ветер какой! Чай, покойники слышат! Гудет, словно зверь лютой... О-хо-хо-х...

– А ты сам откуда?

– Издалече, батюшка. Вологодский я, дальний. По святым местам хожу и за добрых людей молюсь. Спаси и помилуй, господи.

Сторож ненадолго останавливается, чтобы закурить трубку. Он приседает за спиной прохожего и сожигает несколько спичек. Свет первой спички, мелькнув, освещает на одно мгновение кусок аллеи справа, белый памятник с ангелом и темный крест; свет второй спички, сильно вспыхнувшей и потухшей от ветра, скользит, как молния, по левой стороне, и из потемок выделяется только угловая часть какой-то решетки; третья спичка освещает и справа и слева белый памятник, темный крест и решетку вокруг детской могилки.

– Спят покойнички, спят родимые! – бормочет прохожий, громко вздыхая. – Спят и богатые, и бедные, и мудрые, и глупые, и добрые, и лютые. Всем им одна цена. И будут спать до гласа трубного. Царство им небесное, вечный покой.

– Теперь вот идем, а будет время, когда и сами лежать будем, – говорит сторож.

– Так, так. Все, все будем. Нет того человека, который не помрет. О-хо-хо-х. Дела наши лютые, помышления лукавые! Грехи, грехи! Душа моя окаянная, ненасытная, утроба чревоугодная! Прогневал господя, и не будет мне спасения ни на этом, ни на том свете. Завяз в грехи, как червяк в землю.

– Да, а умирать надо.

– То-то что надо.

– Страннику, чай, легче помирать, чем нашему брату... – говорит сторож.

– Странники разные бывают. Есть и настоящие, которые богоугодные, блюдут свою душу, а есть и такие, что по кладбищу ночью путаются, чертей тешат... да-а! Иной, который странник, ежели пожелает, хватит тебя по башке топорищем, а из тебя и дух вон.

– Зачем ты такие слова?

– А так... Ну вот, кажись, и калитка. Она и есть. Отвори-ка, любезный!

Сторож ощупью отворяет калитку, выводит странника за рукав и говорит:

– Тут и конец кладбищу. Теперь иди все полем и полем, пока не упруешься в казенную дорогу. Только сейчас тут межевой ров будет, не упади... А выйдешь на дорогу, возьми вправо и так до самой мельницы...

– О-хо-хо-х-х... – вздыхает странник, помолчав. – А я теперь так рассуждаю, что мне незачем на Митриевскую мельницу идти... За каким лешим я туда пойду? Я лучше, сударик, здесь с тобой постою...

– Зачем тебе со мной стоять?

– А так... с тобой веселей...

– Тоже, нашел себе весельщика! Странник ты, а вижу, любишь шутки шутить...

– Известно, люблю! – говорит прохожий, сипло хихикая. – Ах ты, милый мой, любезный!

Чай, долго теперь будешь вспоминать странника!

– Зачем мне тебя вспоминать?

– Да так, обошел я тебя ловко... Нешто я странник? Я вовсе не странник.

– Кто же ты?

– Покойник... Из гроба только что встал... Помнишь слесаря Губарева, что на масляной завесился? Так вот я самый и есть Губарев...

– Ври больше!

Сторож не верит, но чувствует во всем теле такой тяжелый и холодный страх, что срывается с места и начинает быстро нащупывать калитку.

– Постой, куда ты? – говорит прохожий, хватая его за руку. – Э-э-э... ишь ты какой! На кого же ты меня покидаешь?

– Пусти! – кричит сторож, стараясь вырвать руку.

– Сто-ой! Велю стоять и стой... Не рвись, пес поганый! Хочешь в живых быть, так стой и молчи, покада велю... Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня издох, паршивый... Стой!

У сторожа подгибаются колена. Он в страхе закрывает глаза и, дрожа всем телом, прижимается к ограде. Он хотел бы закричать, но знает, что его крик не долетит до жилья... Возле стоит прохожий и держит его за руку... Минуты три проходит в молчании.

– Один в горячке, другой спит, а третий странников провожает, – бормочет прохожий. – Хорошие сторожа, можно жалованье платить! Не-ет, брат, воры завсегда проворней сторожов были! Стой, стой, не шевелись...

Проходит в молчании пять, десять минут. Вдруг ветер доносит свист.

– Ну, теперь ступай, – говорит прохожий, отпуская руку. – Иди и бога моли, что жив остался.

Прохожий тоже свистит, отбегает от калитки, и слышно, как он прыгает через ров. Предчувствуя что-то очень недоброе и все еще дрожа от страха, сторож нерешительно отворяет калитку и, закрыв глаза, бежит назад. У поворота на большую аллею он слышит чьи-то торопливые шаги, и кто-то спрашивает его шипящим голосом:

– Это ты, Тимофей? А где Митька?

А пробежав всю большую аллею, он замечает в потемках маленький тусклый огонек. Чем ближе к огоньку, тем страшнее делается и тем сильнее предчувствие чего-то недоброго.

«Огонь, кажись, в церкви, – думает он. – Откуда ему быть там? Спаси и помилуй, владычица! Так оно и есть!»

Минуту сторож стоит перед выбитым окном и с ужасом глядит в алтарь... Маленькая восковая свечка, которую забыли потушить воры, мелькает от врывающегося в окно ветра и бросает тусклые красные пятна на разбросанные ризы, поваленный шкафчик, на многочисленные следы ног около престола и жертвенника...

Проходит еще немного времени, и воющий ветер разносит по кладбищу торопливые, нервные звуки набата...

В сарае

Был десятый час вечера. Кучер Степан, дворник Михайло, кучеров внук Алешка, приехавший погостить к деду из деревни, и Никандр, семидесятилетний старик, приходивший каждый вечер во двор продавать селедки, сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае и играли в короли. В открытую настежь дверь виден был весь двор, большой дом, где жили господа, видны были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными потемками, и только четыре окна одного из флигелей, занятых жильцами, были ярко освещены. Тени колясок и саней с приподнятыми вверх оглоблями тянулись от стен к дверям, перекрещивались с тенями, падавшими от фонаря и игроков, дрожали... За тонкой перегородкой, отделявшей сарай от конюшни, были лошади. Пахло сеном, да от старого Никандра шел неприятный селедочный запах.

В короли вышел дворник; он принял позу, какая, по его мнению, подобает королю, и громко высморкался в красный клетчатый платок.

– Теперь кому хочю, тому голову срублю, – сказал он.

Алешка, мальчик лет восьми, с белобрысой, давно не стриженной головой, у которого до короля не хватало только двух взяток, сердито и с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился.

– Я, дед, под тебя буду ходить, – сказал он, задумываясь над картами. – Я знаю, у тебя дамка бубней.

– Ну, ну, дурачок, будет тебе думать! Ходи!

Алешка несмело пошел с бубнового валета. В это время со двора послышался звонок.

– А, чтоб тебя... – проворчал дворник, поднимаясь. – Иди, король, ворота отворять.

Когда он немного погодя вернулся, Алешка был уже принцем, селедочник – солдатом, а кучер – мужиком.

– Дело выходит дрянь, – сказал дворник, опять усаживаясь за карты. – Сейчас докторов выпустил. Не вытащили.

– Где им! Почитай, только мозги расковыряли. Ежели пуля в голову попала, то уж какие там доктора...

– Без памяти лежит, – продолжал дворник. – Должно, помрет. Алешка, не подглядывай в карты, псенок, а то за уши! Да, доктора со двора, а отец с матерью во двор... Только что приехали. Вою этого, плачу – не приведи бог! Сказывают, один сын... Горе!

Все, кроме Алешки, погруженного в игру, оглянулись на ярко освещенные окна флигеля.

– Завтра велено в участок, – сказал дворник. – Допрос будет... А я что знаю? Нешто я видел? Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит: «Опусти, говорит, в почтовый ящик». А у самого глаза заплаканы. Жены и детей дома не было, гулять пошли... Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из левольвера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарка на весь двор голосит.

– Великий грех, – проговорил сиплым голосом селедочник и покрутил головой. – Великий грех!

– От большой науки, – сказал дворник, подбирая взятку. – Ум за разум зашел. Бывало, по ночам сидит и все бумаги пишет... Ходи, мужик!.. А хороший был барин. Из себя белый, чернявый, высокий!.. Порядочный был жилец.

– Будто всему тут причина женский пол, – сказал кучер, хлопая козырной девяткой по бубновому королю. – Будто чужую жену полюбил, а своя опостылела. Бывает.

– Король бунтуется! – сказал дворник.

В это время со двора опять послышался звонок. Взбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В окнах флигеля замелькали тени, похожие на танцующие пары. Раздались во дворе встревоженные голоса, торопливые шаги.

– Должно, опять доктора пришли, – сказал кучер. – Забегается наш Михайло...

Странный воющий голос прозвучал на мгновение в воздухе. Алешка испуганно поглядел на своего деда, кучера, потом на окна и сказал:

– Вчерась около ворот он меня по голове погладил. Ты, говорит, мальчик, из какого уезда? Дед, кто это выл сейчас?

Дед ничего не ответил и поправил огонь в фонаре.

– Пропал человек, – сказал он немного погодя и зевнул. – И он пропал, и детки его пропали. Теперь детям на всю жизнь срам.

Дворник вернулся и сел около фонаря.

– Помер! – сказал он. – Послали за старухами в богадельню.

– Царство небесное, вечный покой! – прошептал кучер и перекрестился.

Глядя на него, Алешка тоже перекрестился.

– Нельзя таких поминать, – сказал селедочник.

– Отчего?

– Грех.

– Это верно, – согласился дворник. – Теперь его душа прямо в ад, к нечистому...

– Грех, – повторил селедочник. – Таких ни хоронить, ни отпевать, а все равно как падаль, без всякого внимания.

Старик надел картуз и встал.

– У нашей барыни-генеральши тоже вот, – сказал он, надвигая глубже картуз, – мы еще тогда крепостными были, меньшей сын тоже вот так от большого ума из пистолета себе в рот выпалил. По закону выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем, а барыня, значит, чтоб сраму от людей не было, подмазала полицейских и докторов, и такую бумагу ей дали, будто сын в горячке это самое, в беспамятстве. За деньги все можно. Похоронили его, значит, с попами, честь честью, музыка играла, и положили под церковью, потому покойный генерал эту церковь на свои деньги выстроил, и вся его там родня похоронена. Только вот это, братцы, проходит месяц, проходит другой, и ничего. На третий месяц докладывают генеральше, из церкви этой самой сторожа пришли. Что надо? Привели их к ней; они ей в ноги. «Не можем, говорят, ваше превосходительство, служить... Ищите других сторожей, а нас, сделайте милость, увольте». – Почему такое? – «Нет, говорят, никакой возможности. Ваш сынок всю ночь под церковью воет».

Алешка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон.

– Генеральша сначала слушать не хотела, – продолжал старик. – Все это, говорит, у вас, у простонародья, от мнения. Мертвый человек не может выть. Спустя время сторожа опять к ней, а с ними и дьячок. Значит, и дьячок слышал, как тот воет. Видит генеральша, дело плохо, заперлась со сторожами у себя в спальне и говорит: «Вот вам, друзья, 25 рублей, говорит, а за это вы ночью потихоньку, чтоб никто не видел и не слышал, вырвите моего несчастного сына и закопайте его, говорит, за кладбищем». И, должно, по стаканчику им поднесла... Сторожа так и сделали. Плита-то с надписом под церковью и посеячас, а он-то сам, генеральский сын, за кладбищем... Ох, господи, прости нас, грешных! – вздохнул селедочник. – В году только один день, когда за таких молиться можно: Троицына суббота... Нищим за них подавать нельзя, грех, а можно за упокой души птиц кормить. Генеральша каждые три дня на перекресток выходила и птиц кормила. Раз на перекрестке, откуда ни возмись, черная собака; подскочила к хлебу и была такова... Известно, какая это собака. Генеральша потом дней пять, как полоумная, не пила, не ела... Вдруг это упадет в саду на колени и молится, молится... Ну, прощайте, братцы, дай вам бог, царица небесная. Пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота.

Селедочник и дворник вышли. Кучер и Алешка тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае.

– Жил человек и помер! – сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени. – Сегодня утром тут по двору ходил, а теперь мертвый лежит.

– Придет время, и мы померем, – сказал дворник, уходя с селедочником, и их обоих уже не было видно в потемках.

Кучер, а за ним Алешка несмело подошли к освещенным окнам. Очень бледная дама, с большими заплаканными глазами, и седой, благообразный мужчина сдвигали среди комнаты два ломберных стола, вероятно, затем, чтобы положить на них покойника, и на зеленом сукне столов видны были еще цифры, написанные мелом. Кухарка, которая утром бегала по двору и голосила, теперь стояла на стуле и, вытягиваясь, старалась закрыть простынею зеркало.

– Дед, что они делают? – спросил шепотом Алешка.

– Сейчас его на столы класть будут, – ответил дед. – Пойдем, детка, пора спать.

Кучер и Алешка вернулись в сарай. Помолчились богу, разулись. Степан лег в углу на полу, Алешка в санях. Сарайные двери были уже закрыты, сильно воняло гарью от потушенного фонаря. Немного погодя Алешка поднял голову и поглядел вокруг себя; сквозь щели дверей виден был свет все от тех же четырех окон.

– Дед, мне страшно! – сказал он.

– Ну, спи, спи...

– Тебе говорю, страшно!

– Что тебе страшно? Экой баловник!

Помолчали.

Алешка вдруг выскочил из саней и, громко заплакав, подбежал к деду.

– Что ты? Чего тебе? – испугался кучер, тоже поднимаясь.

– Воеет!

– Кто воеет?

– Страшно, дед... Слышь?

Кучер прислушался.

– Это плачут, – сказал он. – Ну поди, дурачок. Им жалко, ну и плачут.

– Я в деревню хочу... – продолжал внук, всхлипывая и дрожа всем телом. – Дед, поедем в деревню к мамке; поедем, дед, милый, бог тебе за это пошлет царство небесное...

– Экой дурак, а! Ну, молчи, молчи... Молчи, я фонарь засвечу... Дурак!

Кучер нащупал спички и зажег фонарь. Но свет не успокоил Алешку.

– Дед Степан, поедем в деревню! – просил он, плача. – Мне тут страшно... и-и, как страшно! И зачем ты, окаянный, меня из деревни выписал?

– Кто это окаянный? А нешто можно законному деду такие неосновательные слова? Выпорю!

– Выпори, дед, выпори, как Сидорову козу, а только свежи меня к мамке, сделай божескую милость...

– Ну, ну, внучек, ну! – зашептал ласково кучер. – Ничего, не бойся... Мне и самому страшно... Ты богу молись!

Скрипнула дверь, и показалась голова дворника.

– Не спишь, Степан? – спросил он. – А мне всю ночь не спать, – сказал он, входя. – Всю ночь отворяй ворота да запирай... Ты, Алешка, что плачешь?

– Страшно, – ответил за внука кучер.

Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос. Дворник сказал:

– Плачут. Мать глазам не верит... Страсть как убивается.

– И отец тут?

– И отец... Отец ничего. Сидит в уголушке и молчит. Детей к родным унесли... Что ж, Степан? В своего козыря сыграем, что ли?

– Давай, – согласился кучер, почесываясь. – А ты, Алешка, ступай спи. Женить пора, а ревешь, подлец. Ну, ступай, внучек, иди...

Присутствие дворника успокоило Алешку; он несмело пошел к саням и лег. И пока он засыпал, ему слышался полусшепот:

– Бью и наваливаю... – говорил дед.

– Бью и наваливаю... – повторял дворник.

Во дворе позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила: «Бью и наваливаю». Когда Алешка увидел во сне барина и, испугавшись его глаз, вскочил и заплакал, было уже утро, дед храпел и сарай не казался страшным.

Володя

В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, на завтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре $2\frac{3}{4}$. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что м-ме Шумихина и ее племянницы глядят на него и его маман, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают маман и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как м-ме Шумихина говорила на террасе своей кухне Анне Федоровне, что его маман продолжает еще молодиться и наводит на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял маман не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния – свое и мужнино, всегда тяготевавшая к высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и немолода – Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о маман, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

– Это не любовь, – говорил он себе. – В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Нютой – и эта пара казалась ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде...

В самый разгар мечтаний, когда он, сторбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли и у входа мелькнуло что-то белое.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

– Кто тут? – спрашивала Нюта, входя в беседку. – Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно все думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею и грудь.

– Что же вы молчите? – спросила Нюта, оглядывая Володю. – Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая, пухлая рука, и думал...

– Молчит! – удивлялась Нюта. – Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фу, противный философ! – засмеялась она. – А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

– Молчат и любят уединение только очень гордые люди, – продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. – Вы гордец, Володя. Почему вы смотрите исподлобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задержал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

– Я... я люблю вас! – проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

– Что слышу я?! – запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. – Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

– Я... я люблю вас! – повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

– Bravo, bravo! – услышал он веселый смех. – Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила спокойным голосом:

– Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако, какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное, за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию,

хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома.

«Ах, поскорее бы уехать отсюда! – думал он, хватая себя за голову. – Боже, поскорее бы!»

Поезд, на котором должен был ехать Володя с татап, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь татап.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-ме Шумихина, татап и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

– Уверяю вас! – говорила Нюта. – Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

– Неужели! – ахнула татап, закатываясь протяжным смехом. – Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух.

«И как они могут говорить вслух об этом! – мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо. – Говорят вслух, хладнокровно... И татап смеялась... татап! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?»

Но идти в дом нужно было, во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

– Что же вы не приходите вовремя чай пить? – строго спросила м-ме Шумихина.

– Виноват, мне... мне пора ехать, – забормотал он, не поднимая глаз. – Матап, уж восемь часов!

– Поезжай сам, мой милый, – сказала томно татап, – я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

– Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех и талия – все это с поразительной ясностью предстало в его воображении и все это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

«Пустьяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию, – думал он, – значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы...»

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случаю повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то – вот и случай!

«Вернусь, – думал он, – а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду».

И он вернулся... М-ме Шумихина, мамап, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Нюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим все будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

«Как это все глупо! – досадовал Володя, ложась в постель. – Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего...»

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, все очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, надеет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а «молодым человеком». А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец, в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он все сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула и в комнату вошла мамап.

– Ты не спишь? – спросила она, зевая. – Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

– Зачем вам?

– У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкапчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

– Марья Леонтьевна, это не те капли! – услышал через минуту Володя женский голос. – Это ландыш, а Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Нюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накиннул на плечи шинель и пошел к двери.

– Понимаете? Морфин! – объясняла шепотом Нюта. – Там должно быть написано полатыни. Разбудите Володю, он найдет...

Мамап открыла дверь, и Володя увидел Нюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

– Вот Володя не спит... – сказала она. – Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Мамап что-то пробормотала, зевнула и ушла.

– Ищите же, – сказала Нюта. – Что стоите?

Володя пошел к шкапчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, мамап ушла, – думал он. – Это хорошо... хорошо...»

– Скоро же? – спросила протяжно Нюта.

– Сейчас... Вот это, кажется, морфин... – сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово «morph...» – Извольте!

Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить – так они были густы и длинны! – и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

– Какая вы...

– Что?

Она вошла в комнату.

– Что? – спросила она, улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

– Я вас люблю... – прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

– погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! – говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. – Нет, никого не видно...

Она вернулась...

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он – все слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и все это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

– Однако мне нужно уходить, – сказала Нюта, безразлично оглядывая Володю. – Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

«Гадкий утенок... – думал он после того, как она ушла. – В самом деле я гадок... Все гадко».

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни мама, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.